

РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

А.В. ШИПИЛОВ

**О русском и нерусском:
заметки по истории
допетровской Руси**

Несмотря на изменения в методологии социального знания, релятивизацию образов нации и даже этноса [Малахов, 2002], массовое историческое сознание современных россиян продолжает определяться субстанциалистски трактуемой парадигмой нации. Учебная и популярная литература, средства массовой информации рассматривают отечественную историю почти исключительно сквозь призму привычных представлений о национальной государственности и национальной культуре. Мы смотрим в историю, как в зеркало, и видим в ней – кто с удовлетворением и гордостью, а кто с противоположными эмоциями, – самих себя. Господствующая национальная идентичность необходимо предполагает трансгенеративную протяженность во времени, где сиюминутное настоящее и отдаленное прошлое сливаются в надвременное и надисторическое "Мы". По замечанию Л. Февра, эта "постоянная и досадная склонность к неосознанному анахронизму, свойственная людям, которые проецируют в прошлое самих себя" [Февр, 1991, с. 104], неизбежна и для других типов идентичности. Поэтому было бы неверно утверждать неадекватность существующих конвенциональных представлений, провозглашая собственную точку зрения настоящей (корреспондентской) истиной. Тем не менее некоторое изменение угла зрения преобразует привычную картину прошлого, позволяет увидеть то, что иначе остается незамеченным. Так открывается несколько иная история, одна из многих возможных.

"Норманнская проблема" и истоки русского национализма

Исходя из представления об условности национальной самоидентификации, хотелось бы поговорить о некоторых дискуссионных моментах отечественной истории. Один из таких моментов – так называемая "норманнская проблема". Кажется, что конца дискуссии по поводу "привзвания варягов на Русь" в обозримом будущем не просматривается, но у нее, по крайней мере, есть начало. Это известное выступление М. Ломоносова против Г.З. Байера, А.Л. Шлецера и Г.Ф. Миллера, которые считали великого князя Рюрика норманном. Ломоносов же доказывал, что Рюрик был выходцем из Пруссии, пруссов объединял с россами, а тех и других признавал славянами. Я не буду обсуждать взгляды сторон и приводить аргументы последователей обеих точек зрения, ибо количество и качество источников таковы, что в течение уже двух с половиной столетий не могут

дать решающего перевеса ни "норманнистам", ни "антинорманнистам", а скажу несколько слов о той ситуации, в которой возник этот исторический спор.

Он начался в период правления императрицы Елизаветы Петровны, которое было отмечено введением в общественное сознание первых *квазинационалистических идеологов*. Их появление определялось сложной политической ситуацией. Дело в том, что приход Елизаветы к власти путем свержения Брауншвейгской династии представлял собой нелегитимную узурпацию. По завещанию Екатерины I наследником престола назначался сын Петра I Петр Алексеевич (Петр II). В случае, если он умрет бездетным, на престол должна была вступить дочь Петра I цесаревна Анна Петровна и ее наследники, если же таковых не окажется, то ее сестра Елизавета Петровна с наследниками. Когда Петр II в 1730 г. действительно умер бездетным, его законным наследником являлся Карл Петер Ульрих – сын Анны Петровны (скончавшейся в 1728 г.) и герцога Голштинского Карла Фридриха. Однако вместо них Верховный тайный совет предложил престол на определенных условиях ("кондициях") племяннице Петра I Анне Иоанновне. Та подписала документ, ограничивающей ее права, но затем при поддержке шляхетства и гвардии переменяла решение: разорвала его и была провозглашена самодержицей. Выглядело это так, будто шляхетская "нация" по собственной инициативе передала императрице привилегии суверена-автократа. Конечно, такой поворот был незаконным, но сила тогда решительно разошлась с правом, а "второе призвание Романовых" устроило большинство политических игроков.

Анна Иоанновна назначила наследником Ивана VI Антоновича – сына своей племянницы (внучатой племянницы Петра I, лютеранки) Анны Леопольдовны и герцога Брауншвейг-Люнебургского Антона Ульриха, а регентом – небезызвестного Бирона. Однако после ее смерти в 1740 г. Бирон был вскоре свергнут, и функции регента взяла на себя мать императора Анна Леопольдовна (с титулом великой княгини). Тогда же в Европе началась война за австрийское наследство (владения Габсбургов, ставшие спорными после смерти императора Карла VI). В сложных политических комбинациях той поры одной из сторон было решено занять русские войска войной со Швецией, дабы они не поддержали другую (правительство Анны Леопольдовны склонялось к поддержке дочери покойного императора Марии-Терезии).

В 1741 г. Швеция объявила войну России, причем в шведском манифесте о начале боевых действий их необходимость обосновывалась альтруистическим желанием шведского правительства извратить страну от господства иностранцев и возвести на престол Российской империи родную дочь Петра Великого – Елизавету Петровну. В Петербурге того же добивался французский посол (французские и испанские Бурбоны поддерживали прусского короля Фридриха II против Марии-Терезии) маркиз Ж.И.Т. де ля Шетарди, который вел свою интригу через лейб-медика Елизаветы Петровны И.Г. Лестока: тот запугивал цесаревну монастырем, куда якобы собиралась отправить ее Анна Леопольдовна, и неустанно убеждал свергнуть последнюю и захватить трон. Таким образом, французское золото и шведские штыки сыграли не последнюю роль в захвате трона Елизаветой Петровной (в ночь с 24 на 25 ноября 1741 г. поднятая Елизаветой гренадерская рота Преображенского полка арестовала Анну Леопольдовну, ее супруга и детей, а также ряд видных сановников).

Елизавета Петровна получила власть незаконно не только потому, что свергла Брауншвейгскую династию с помощью вооруженного насилия, но и потому, что сама она была рождена вне церковного брака (в 1709 г., а ее отец – Петр I официально женился на Марте Скавронской, будущей Екатерине I, только в 1712 г.), то есть являлась по сути, незаконнорожденной. Впрочем, легитимность многих российских правителей весьма проблематична, а дела о наследовании запутаны: незаконнорожденной была и Анна Петровна, зато ее сын вполне "законным"; Иван VI был легитимным императором, а Анна Леопольдовна являлась "правительницей" не по праву. Но надо учитывать и то, что Ивана Антоновича назначили наследником самой Анны Иоанновны, незаконно получившей трон, да и завещание Екатерины I можно подвергнуть сомнению, так как, хотя оно и соответствовало изданному в 1722 г. Петром I "Уставу о наследии престола", но

сама Екатерина I заняла трон с помощью гвардии, ибо лично Петр I наследника не назначил.

Таким образом, легитимность каждого из предшественников Елизаветы Петровны можно было оспаривать, и лишь в легитимности Петра I никто не сомневался (хотя повороты политики 1682 и 1689 гг. были все же довольно сомнительными, но о них за давностью лет уже не вспоминали). Сама Елизавета захватила власть путем вооруженного переворота и хотя сразу назначила своим наследником Карла Петера Ульриха, будущего Петра III, как бы следуя тем самым завещанию Екатерины I, но этот жест был двусмысленным и не меняющим характера происшедшего переворота: по тому же завещанию сама Елизавета Петровна могла бы по праву получить трон лишь в случае пресечения линии Анны Петровны.

Все это было сплошным произволом, замешенным на интересах европейских держав, и легитимность власти Елизаветы Петровны с династической точки зрения оказывалась более чем сомнительной. Единственное, что она могла в этих условиях предпринять, стремясь сделать свою власть если не законной, то хотя бы общественно признанной, — это противопоставить себя предшественникам в качестве прямой, кровной наследницы великого царя, "дщери Петровной". Имя Петра I, которого за четыре десятка лет до этого в народе называли подменным царем-немцем, теперь уже было окружено мифическим ореолом царя-демиурга, создателя Империи — понятно, не для народа, а для служилого шляхетства, бывшего единственной сословной группой, мнение которой принималось во внимание. Соответственно, к поддержке этого квазиобщественного мнения и прибегла Елизавета Петровна, вступив на престол под лозунгом восстановления всех порядков и учреждений, созданных или введенных ее отцом — Петром Великим.

Национально-патриотическая тема стала стержнем официальной "антинемецкой" пропаганды этого царствования, с помощью которой императрица формировала и поддерживала негативную оценку личности и действий Анны Леопольдовны и Анны Иоанновны (после захвата власти ряд "немецких" сановников — А. Остерман, К. Левенвольде, К.Л. Менгден были отправлены в ссылку). Впрочем, не следует переоценивать действенность этой пропаганды, тем более что при карликовых размерах тогдашнего образованного общества все ограничивалось намеками и экивоками в придворных беседах. Ни о каких антинемецких или антизападных общественных настроениях в правление Елизаветы Петровны речь не шла, так как, во-первых, не существовало самодовлеющего, не зависящего от государства общества, формирующего самостоятельную позицию по актуальным политическим вопросам (гражданского общества), а было лишь служилое дворянство; во-вторых, последнее как раз в это время всеми силами добивалось от власти сословных привилегий и окончательного закрепления своего господства над всеми "неблагородными", особенно владельческими крестьянами, то есть стремилось позиционировать себя в вертикальной системе отношений "высшие—низшие", а не в горизонтальной системе "свой—чужие".

Какие-то более или менее выраженные антинемецкие настроения распространились не столько в обществе и даже не среди рядового дворянства, сколько в определенных правительственных кругах, да и эти настроения были, собственно, не антинемецкие, а антипруссские, так как против Пруссии выступали *проавстрийски* настроенные придворные. Единственным сколько-нибудь заметным посланием двора и правительства в этом отношении явился опыт с изданием лубочных листов в годы Семилетней войны, на которых русские казаки молодецки кололи прусских драгун, а Фридрих II оказывался вынужденным признать русскую доблесть [Оболенская, 1991, с. 171–173].

Агитация такого рода была ситуативной и обращалась прежде всего к весьма узкому кругу столичных посадских, хоть сколько-нибудь знакомых с грамотой. Что же касается дворянства, то, несмотря на присутствие за границей в ходе Семилетней войны тысяч русских офицеров, никаких антипруссских и тем более антинемецких и антизападных настроений, насколько об этом можно судить по свидетельствам современников и мемуаристике, не возникло. Да и саму эту войну ни в малейшей степени нельзя считать "национальной": не "русские" воевали здесь против "немцев", а императрица Елизавета Пет-

ровна оказывала поддержку другой императрице – Марии-Терезии против короля прусского Фридриха II. Союзниками двух императриц были короли Фридрих Август II (он же Август III), Людовик XV, Карл III и Адольф Фредерик; союзниками прусского короля Георг II и Фердинанд Брауншвейский (не считая разных мелких немецких князьков). Словом, это была война королей, а не наций.

Тем не менее все эти события не могли не оказать определенного влияния на дух эпохи. И именно в этих обстоятельствах Ломоносов и сводил собственные счета с некоторыми из немцев в Академии наук – в первую очередь – с управляющим академической канцелярией И.Д. Шумахером (личным библиотекарем Петра I, принимавшим участие в создании Академии), а также и с академиками-историками. Обычно эта борьба трактуется как выступление русского патриота против зловердных "иностранцев", унижавших наше национальное достоинство своей теорией о решающей роли варягов-иностранцев и германоязычной (якобы) "руси" в процессе возникновения древнерусского государства.

Однако это представление и есть пример того самого анахронизма, о котором писал Л. Февр, а именно – модернизации картины событий: да, Ломоносов боролся против Шумахера и Миллера с Байером; но против Шумахера до этого выступали и профессора-немцы, некоторые из которых даже демонстративно ушли из Академии. Ломоносов же никуда уходить не собирался и, более того, добивался от канцлера М. Воронцова учреждения поста академического вице-президента (под свою кандидатуру), а также повышения ранга занимаемой им профессорской должности. По Табели о рангах "профессора при Академии" имели обер-офицерский чин IX класса (титулярный советник), дававший не потомственное, а только личное дворянство. Вопрос о повышении статуса профессоров в принципе решить не удалось, однако сам Ломоносов уже в начале правления Екатерины II все же удостоился генеральского чина V класса (статский советник), данного лично ему императрицей в качестве почетного звания [Шепелев, 1991, с. 117]).

Ломоносов боролся с "немцами", так как в правление Елизаветы Петровны это было официально проводимой политической линией. В то же время он отстаивал интересы России, стремясь пополнить число монарших подданных переселенцами из иностранцев. По его словам, "пространное владение великой нашей монархини в состоянии вместить в свое безопасное место целые народы" [Ломоносов, 1986, с. 132]. Это типичный пример до- или, лучше сказать, *внеационалистического* мышления. Отстаивая российскую историю, чистоту русского языка от проникновения иностранщины, он вместе с тем постоянно приводил в пример немецкие порядки. Ломоносов учился в Германии (в Марбурге и Фрейберге), был женат на немке (Е. Цильх), его библиотека на четыре пятых состояла из иностранных книг. Это был противоречивый персонаж: патриот-западник и демократ, постоянно искавший покровительства двора. Он и не мог быть другим: все, что здесь сказано, естественно, не упрек Ломоносову – речь идет о том, что не следует модернизировать историю, воспринимая личные и сословные интересы в качестве проявлений национального патриотизма.

Общинное и династическое самосознание как альтернатива национальному

Возвращаясь к "норманнской проблеме", следует указать, что у нее действительно нет решения, если процесс политогенеза интерпретировать в качестве феномена этнического взаимодействия. Дело в том, что с точки зрения общины любое государство представляется основанным пришельцами со стороны: так оно и есть, ведь даже вчерашний общинник, переходящий в формирующийся государственный сектор, перестает быть членом общины и, естественно, выступает чужим по отношению к последней; ведь он больше не входит в ее социальный организм, а стоит вне его и над ним. Человек государства всегда чужой для человека общины – это люди из разных социальных миров. Причем неважно, носителем какого языка и выходцем из какого племени будет лицо, представляющее собой государство, – его чуждость не увеличится от того, что он го-

ворит на другом языке, нежели община, и не уменьшится из-за факта происхождения из самой этой общины, ибо различие между ними не этническое, а социальное – стратификационное, сословное.

У человека государства и человека общины разные типы идентичности, разное наполнение определяющей ее оппозиции "мы – они": если последний позиционирует себя как представителя группы в рамках противопоставления "своих" и "чужих", то первый – в рамках противопоставления "высших" и "низших". В условиях характерной для Киевской Руси диархии волостных общин и князей с их дружинами основным носителем патриотического локализма выступала городская община: преобладающей формой социальной идентичности здесь была гражданско-волостная, человек воспринимал себя и окружающих как жителя определенного города, члена определенной общины – киевлянина, новгородца, рязанца, курянина и т.д. Связь этого типа идентичности с политическими структурами городского самоуправления запечатлена в многочисленных летописных формулах типа "сдумаше кыяны", "реша новгородьце" и др.

В то же время дружинно-княжеское сословие (*квазисословие* – до последовательного правового оформления сословного строя было еще очень далеко) осуществляло свое господство по отношению к миру городских волостей и родоплеменных объединений: для этих "людей войны" вся разница между той или иной местной общностью сводилась к тому, какое количество дани и с какой легкостью можно от нее получить, так что максимально эксплуатируемые группы оценивались наиболее позитивно, а отсталые и потому воинственные и свободолюбивые племена типа тех же древлян оценивались наиболее негативно. Однако в любом случае ни князья, ни их дружинники и администрация не отождествляли себя с тем или иным племенем или волостью и поэтому были чужды партикуляристскому групповому самосознанию последних.

Учитывая это, говорить о национальной или даже об этнической принадлежности правящего рода Рюриковичей следует с определенной осторожностью. Да, возможно, что на первых порах они еще в той или иной мере сохраняли норманнскую идентичность (о чем говорят их имена – Олег, то есть Хельг, Ольга – Хельга, Игорь – Ингвар, Владимир – Вольдемар). Святославу Игоревичу было в принципе все равно, где править – на Днепре или на Дунае, Владимир в случае политических неприятностей сразу отправлялся к варягам; то же самое собирался сделать в одном из эпизодов своей политической карьеры Ярослав Мудрый, который, впрочем, ограничился очередным набором варяжской дружины.

Однако при этом надо принимать во внимание тот факт, что члены правящих династий, как правило, вообще не имеют национальной/этнической принадлежности, и в этом плане Рюриковичи были норманнами не больше, чем славянами или кем-либо еще. Как и любой владетельный дом, Рюриковичи при каждой удобной возможности из поколения в поколение заключали браки с династиями Византии, Германии, Франции, Польши, Швеции, Норвегии, Венгрии, Англии, Литвы, Великой Степи.

Естественно, что "национальной" принадлежности как таковой эти "русские" князья и княгини не имели. Возьмем для примера героя знаменитого "Слова о полку Игореве" князя Игоря Святославича: его отец Святослав Олегович был женат на дочери половецкого хана Аепы, дед, Олег Святославич – сначала на гречанке Феофане Музалон, затем на дочери половецкого князя Осолука, прадед, Святослав II – на сестре епископа Трирского Оде, прапрадед, Ярослав Мудрый – на дочери шведского короля Ингегерде, прапрапрадед, Владимир I – на дочери византийского императора Анне; сын самого Игоря Святославича, Владимир, взял в жены дочь половецкого хана Кончака и т.д. Видеть в этом вполне рядовом династе оперного "князя Игоря" – "русского" героя, бьющегося за Родину против "нерусских" врагов, просто неверно – это обычный националистически ангажированный анахронизм. Вообще, высчитывать долю "русской крови" у того или иного князя, царя или императора, как это многократно проделывалось, вполне бессмысленно: кровь у этих, как и любых иных аристократов, была "голубая", а не русская, немецкая, половецкая или греческая.

Вполне вероятно, что многие из Рюриковичей были двуязычны (или даже многоязычны, как Ярослав Осмомысл); точно так же они были и поликультурны – их аристократическая культура по самой своей природе не могла не быть вне-, над- или интерэтнической. Одежда, оружие, украшения, предметы быта, тактика боя, правила этикета – все это и многое другое в военно-аристократической среде легко заимствуется; вернее сказать, в определенные эпохи в определенных регионах существует *единая военно-аристократическая культура* или "суперкультура", "мегакультура" – "высших" общественных слоев, оппонирующая многочисленным и разнообразным этнокультурам слоев "низших". Естественно, что оппозиция "высшие–низшие" снимала для представителей дома Рюриковичей и всех, кто стоял за ними и вокруг них, – воинов, администраторов, мастеров-ремесленников, межволостную и межплеменную оппозицию "свои–чужие". Именно поэтому клирики, близкие к тем или иным князьям, так свободно могли рассуждать о единстве Русской земли, о необходимости этого единства (иначе говоря – о признании гегемонии данного князя всеми остальными Рюриковичами).

Золотая Орда, Литва и династические интересы власти

С точки зрения сословной принадлежности и династических интересов следует рассматривать и более поздние события истории Руси, например монгольское завоевание и ордынско-литовское подданство русского населения в удельную и реннемосковскую эпоху. Если стоять на позиции позднейшего национального патриотизма, то поведение князей и митрополитов представляется довольно сомнительным. Русские князья Северо-Востока утверждались ордынским ханом, судились в ханском суде, платили хану (точнее, "царю", как стали называть хана его русские подданные) дань и выставляли свои отряды по его требованию; многие из них годами жили в Орде, а некоторым удавалось даже жениться на родственницах хана – как, например, Юрию III Даниловичу, которому выпала редкая честь стать супругом сестры хана Узбека – Кончаки (надо сказать, что московские князья больше прочих старались снискать ханскую благосклонность). Отряды русских князей то и дело сражались вместе с татарами против самых разных противников – в первую очередь, против войск Великого княжества Литовского, состоявших в подавляющем большинстве из тех же самых русских и православных жителей Полоцка, Минска, Брянска, Киева и т.д. Воевали русские дружины и с другими врагами золотоордынских ханов: так, сын Дмитрия Донского Василий I поддерживал своими войсками хана Тохтамыша (который за несколько лет до этого оставил от Москвы одни головешки) против властителя Средней Азии Тамерлана, а позднее Шадибек поддерживал своими войсками Василия I против литовского князя Витовта.

С учетом этих и множества других аналогичных фактов можно говорить о неадекватности позднейших "национально-патриотических" интерпретаций событий эпохи "монголо-татарского ига". Куликовская битва в большей части исследований и учебников выглядит каким-то эпическим или даже мифическим сражением сил добра и зла, где все "русские" в едином "национально-освободительном" порыве бьются не на жизнь, а на смерть с inferнальными "татарами". На самом деле Мамай был не ханом Золотой Орды, а засевающим в Крыму узурпатором, и войско его состояло не столько из поволжских татар, сколько из осетинов, черкесов, караимов, армян, генуэзцев и т.д. Дмитрий Донской вывел на бой не общерусское войско, а собственную дружину, отряды своих вассальных князей-"подручников" и некоторых союзников, среди которых были даже литовцы, в то время как все противники Москвы – Тверь, Великий Новгород, Нижний Новгород придерживались враждебного нейтралитета, а рязанский князь Олег был непонятно на чьей стороне. Опоздавшие к бою войска великого князя Литовского Ягайло вознаградил себя грабежом русских обозов и избиением раненых, причем войска эти состояли по большей части из православных и говоривших по-русски ратников.

Интересно, что другой эпизод правления Ягайло, когда его войска в 1410 г. в Грюнвальдской битве нанесли поражение "немцам" Тевтонского ордена, в массовой учебной литературе описывается с применением гораздо более позитивной лексики, и сам ли-

товский князь предстает вполне положительным персонажем. В этой литературе нет, наверное, ни одного описания Грюнвальдской битвы, где бы с законным чувством национальной гордости не говорилось о мужестве и стойкости смоленских полков; однако разве не из тех же самых западнорусских городов были полки, которые за тридцать лет до этого Ягайло вел на помощь Мамаю?

И "русские", и "нерусские" династы вели борьбу между собой не за "национальные" интересы, отсутствовавшие в силу несформированности национальных государств и самих наций, а за династическое владение и подданство. Рюрикoviчи были не в большей и не в меньшей степени "русскими", чем Гедиминовичи. Оба владетельных дома поддерживали между собой самые тесные династические связи, причем это касалось не только местных, литовских, но и северо-восточных православных князей. Так, Дмитрий Грозные Очи был женат на дочери Гедимины Марии, Борис Константинович – на дочери Ольгерда Марии, Симеон Гордый – на дочери Гедимины Августе Анастасии, Владимир Храбрый – на дочери Ольгерда Елене, Василий I – на дочери Витовта Софье; и наоборот, Ольгерд был женат на тверской княжне, Любарт – на волынской, Корибут – на рязанской, Свидригайло – на тверской и т.д. Ту же самую династическую политику проводили и московские государи-вотчинники: Иван III выдал свою дочь Елену за великого князя Литовского Александра I, а сына Ивана женил на другой Елене – дочери Молдавского господара Стефана IV. Василий III женился на дочери перешедшего в его подданство литовского князя Михаила Глинского; он же предлагал свою кандидатуру на престол Великого княжества Литовского (однако неудачно – великим князем Литовским и королем Польским стал Сигизмунд I).

Эта попытка династического объединения Руси и Литвы вовсе не была чем-то экстраординарным (по крайней мере, не более чем уния Литвы и Польши): иноземное происхождение правителя в то время лишь возвышало его статус. Недаром именно в это время появилось "Сказание о князьях владимирских", в котором происхождение рода Рюрикoviчей возводилось к некому Прусу – мифическому брату римского императора Августа. Аналогичные попытки межплеменных и межконфессиональных брачных союзов неоднократно предпринимались и в дальнейшем, в частности Иваном Грозным. Вторым браком он был женат на кабардинской княжне, а после седьмого брака подумывал над тем, чтобы предложить руку и сердце английской королеве Елизавете; свою племянницу он выдал за датского принца Магнуса. После смерти последнего Ягеллона – Сигизмунда II Августа в 1572 г. Ивану IV предложили литовский трон, точнее – трон Речи Посполитой. В этот раз корона досталась Стефану Баторию, однако после смерти последнего в 1586 г. в числе претендентов снова оказался представитель дома Ивана Калиты – Федор Иоаннович. Но и на сей раз по несчастливой или, наоборот, счастливой случайности Речь Посполитая не объединилась с Москвией в одно государство под скипетром московского монарха – королем стал Сигизмунд III.

Если московским династам не удалось сесть на польско-литовский трон, то сын Сигизмунда III Владислав сумел стать московским царем – правда, лишь формально-юридически: в 1610 г. служилые люди и горожане раздираемого Смутой русского государства, разочаровавшись в безуспешных попытках увидеть на престоле настоящего наследного царя, присягнули Владиславу как лицу, хоть и не имевшему отношения ни к дому Калиты, ни вообще к России, но настоящей королевской крови. Эта кровь имела довольно примечательный состав: принц Владислав был сыном короля Швеции и Речи Посполитой Сигизмунда III; Сигизмунд III – сыном шведского принца Иоанна (отпрыска Густава I Вазы и Екатерины Сигизмундовны, дочери великого князя Литовского и короля Польского Сигизмунда I); Сигизмунд I – сын великого князя Литовского Казимира IV; Казимир IV – сын Ягайло; Ягайло – сын Ольгерда; Ольгерд – потомок Гедимины. При этом Ягайло родился от брака Ольгерда с тверской княжной Ульяной, дочерью Александра II Михайловича, великого князя Тверского и Владимирского, род которого восходил к Всеволоду Большое Гнездо, Юрию Долгорукому, Владимиру Мономаху и так далее, вплоть до Рюрика.

Таким образом, если учитывать обе линии, в жилах королевича Владислава текла кровь Гедиминовичей, Пястов, Анжуйского дома, дома Ваза, Рюриковичей, Комнинов, англосаксонских королей, половецких ханов. Это был типичный династ, относительно которого, как и подавляющего большинства других, неясно, имеет ли вообще смысл говорить о национальной/этнической принадлежности. Владислав отказался от своих прав на русский престол только в 1634 г., так что законность решения Собора 1613 г., присягнувшего Михаилу Федоровичу Романову, все это время оставалась под вопросом. На этом Соборе фигурировала и кандидатура Владислава (равно как и шведского принца Филиппа), и избрание Романова стало одной из многочисленных исторических случайностей, которая в то же время ничуть не опровергала общей закономерности – родоначальник династии Романовых, Андрей Кобыла, вел свое происхождение то ли из пруссов, то ли из литовцев, то ли из еще каких-то "немцев".

От антиавтохтонного к национальному: пути становления русской бытовой культуры

Не только царский, но и любой знатный род на Руси основывал свою знатность прежде всего на иноземном, то есть иноэтничном, инокультурном происхождении своего основателя, считая делом чести, чтобы в родословные книги был вписан этот реальный или мифический иностранец. Такую принципиальную чуждость, *антиавтохтонность*, отличавшую аристократию от прочего неблагородного, "подлого" люда следовало постоянно демонстрировать и в настоящем. Хотя "государевы холопы" – московские бояре, окольные и прочие служилые люди – мало походили на настоящую аристократию, они все же стремились к тому, чтобы маркировать свой социальный статус с помощью разного рода культурных артефактов.

Прежде всего это касается потребительской, бытовой культуры. Не следует думать, что в допетровские времена существовала некая единая [прото]национальная культура, и лишь в результате масштабных заимствований первой половины XVIII в. культура "верхов" оторвалась от культуры "низов". Вспоминая известную ленинскую формулу, можно сказать, что во всякой культуре есть две культуры; точнее, культура любого стратифицированного социума не только отличается от иных лингво-этно-конфессионально-культурных единиц, но еще и дифференцируется на классово-сословные субкультуры. При этом внутреннее тождество предполагает внешнее различие, а внутреннее различие – внешнее тождество. Проще говоря, в плоскости противопоставления "свое–чужое" выступает социально гомогенная этническая культура, а в плоскости противопоставления "высшее–низшее" – этнически гетерогенная социальная культура.

Отличая себя от латинян и басурман, социальная элита московского вотчинного государства не оппонировала массе и представляла в этом качестве носителем единой этноконфессиональной (русско-православной) культуры. А вот "государевы холопы" (знать), противопоставляющие себя "государевым сиротам" (податному населению), выступали в этом качестве уже как носители полиэтнической сословной культуры, хотя о сословиях в собственном смысле слова для этого периода говорить нельзя – в Московском государстве их не было, а были *чины*. Не существовало интереса или надэтнической дворянской культуры. Тем не менее высокостатусные группы москвитов старались этот свой высокий статус сделать очевидным.

Очевидным в буквальном смысле – оче-видным, наглядным, видимым всем (в эпохи, когда уровень грамотности лишь незначительно приподнимается над нулевой отметкой, визуальное безраздельно доминирует над текстуальным). Для этого необходимо использовать внешние формы бытовой культуры, то есть прежде всего одежду. А одеждой, отличавшей представителя элиты от массы простолюдинов, закономерно могла быть только одежда *иностранная* – по крайней мере, имеющая не местное происхождение, ибо все местное для элитарных страт тождественно "низшему". Костюм в аристократической, то есть, как правило, военной среде всегда отличается неким "интернациональным" характером. Это верно если и не для всех, то для очень многих стран и народов, и

было бы неправильным считать, что Русь московская, равно как и более ранних эпох, являлась каким-то исключением в этом ряду.

В раннекиевский период древнерусский военно-аристократический костюм испытывал норманское, позднее – византийское влияние; в удельную и, особенно, московскую эпохи доминирующим влиянием становится азиатское – ордынское и, позже, персидское и турецкое. Вопросы хронологии, путей проникновения, форм и степени этих влияний в современной отечественной литературе разработаны слабо, и чтобы не просто постулировать, а аргументированно доказывать наличие иноэтничных и инокультурных влияний в костюме высших сословий допетровской Руси, пришлось бы провести специальное исследование. Поэтому ограничусь простой констатацией известного факта: значительное количество видов одежды московского периода имеют названия, происходящие из восточных языков: это "сарафан" (перс. *serāpā*), "халат" (тюрк. *hil'at*), "зипун" (тур. *zybun* или новогреч. *zipūni*, или венец. *zipon*, или итал. *giubbone*), "кафтан" (перс. *kaftan*), "шуба" (араб. *ḡubba*), "терлик" (тюрк. *tärlik*), "епанча" (тур. *jarunža*), "тулуп" (тюрк. *tulup*), "армяк" (перс. *urmak*), "емурлук", "ферезея", "чуга", "азям", а еще обувь – "башмак" (тур. *bašmak*), головные уборы – "колпак" (тюркизм), другие предметы одежды – "чулки" (тюркизм). Некоторые предметы костюма в описях той эпохи так и называются – "кафтан турецкий", "шуба турецкая" и т.п. В одежде московской эпохи прослеживается и западное влияние, хотя и неизмеримо менее значительное: "шапка" (старофр. *chape, chapel, enchaper*), "шляпа" (средневерхненем. *slappe*, бавар. *Schlappe*), "юбка" (средневерхненем. *joppe, jurre*).

Трудно сказать, в какой мере заимствование названий указывает на заимствование самих видов одежды или хотя бы ее покроя, однако сам факт восточного и в значительно меньшей мере западного влияния – налицо. Насколько можно понять из имеющихся источников, заимствование шло обычным путем: сначала новый вид одежды появлялся в военно-придворной среде (в рассматриваемую эпоху каждый придворный был военным), то есть при дворе и среди знати, затем входил в моду среднего служилого люда и посадских, а с падением популярности у дворян и горожан становился частью костюма крестьян. Такой путь прошли сарафан, армяк, зипун. Возьмем для примера хотя бы сарафан. Персидское *serāpā* – буквально "с головы до ног", обозначало какую-то почетную одежду; в русских источниках слово "сарафан" впервые появилось в XIV в. как обозначение мужской одежды князей и бояр; в XVI в. сарафаны носят уже не только мужчины, но и женщины, причем не только знатные, но и из "высшего среднего класса"; со второй половины XVII в. сарафан – исключительно женская одежда уже и простых горожанок; и лишь в конце XVII–начале XVIII в. начинается широкое проникновение сарафана в деревню. Покрой сарафана все это время менялся: это могла быть одежда с рукавами и без рукавов, накладная и распашная, на лямках и на пуговицах – в истории сарафана больше вопросов, чем ответов. Несомненно лишь одно: сарафан, выступающий в современном национальном сознании в качестве одного из символов или эмблематических принадлежностей "русской национальной культуры", по своему происхождению является не более русским, чем самовар, матрешка или гармошка, – все это иностранные заимствования разного времени.

Абсолютное большинство заимствований проходило свой путь именно "сверху вниз" – от двора и знати до крестьянства. Это вообще очень характерная для социокультурного развития закономерность: деревенская культура по отношению к городской представляет собой хранилище переосмысленных и перекодированных форм, снятых временем реалий – деревня заимствует у города его прошлое. Сельская "нижняя" культура – в сущности, архаизированная, фрагментированная и рудиментаризованная "верхняя" церковно-государственно-городская культура. Уходя вперед, город сбрасывает все устаревающее в деревню; последняя является естественным хранилищем всех потерявших актуальность социокультурных форм. Деревня испытывает постоянный дефицит формальности и получает ее от города по мере устаревания последней; деревенская культура – своего рода *музей форм*, от форм религии до форм одежды.

Так, сельская община позднейших времен сохраняла нормы и формы социальной жизни, характерные для допетровской Руси; то, что было в предшествующую эпоху достоянием высших сословий, становится теперь отличительным признаком низших классов. Например, свадебные чины на крестьянской свадьбе – "князь" и "княгиня" (жених и невеста), "дружки", "подружье", "тысяцкий", "бояре" – восходят к аристократическому обряду венчания удельного, если еще не более раннего, периода [Маслова, 1984, с. 9]. Как пишет Н. Миненко, "номенклатура свадебных чинов, связанных с венчанием, перекочевала в народную свадьбу из княжеской" [Миненко, 1979, с. 242]. Принадлежавшее культуре владетельных князей стало принадлежностью культуры владельческих крестьян. Процесс подобного заимствования деревней форм культуры города был перманентным: по мере того, как культурный артефакт выходил из сферы "верхней" культуры, культуры элитарных социальных групп, он входил в "нижнюю" культуру крестьянства. Такую эволюцию претерпел не только вышеупомянутый сарафан: традиционные для города женские головные уборы – кика, сорока, кокошник по мере их вытеснения платком становились традиционными для деревни, позднее же и сам платок превратился из городского в специфически деревенский головной убор.

Не только одежда, но и любые другие артефакты культуры "высших" становятся достоянием культуры "низших" только тогда, когда эти самые артефакты перестают играть роль маркера социального статуса; точнее говоря, "низшие" естественно стремятся к тому, чтобы подняться на социальный "верх", и усвоение внешних социально-различительных культурных форм здесь является самым простым путем вертикальной мобилизации. Но не менее закономерно и то, что представители социальных низов, заимствуя те или иные элементы культуры социальных верхов и добываясь хотя бы внешнего сходства, догнать "верхи" не в состоянии, так как последние немедленно создают – или заимствуют извне – новые формы, маркирующие их привилегированное, господствующее положение.

Это касается и пищевой культуры: дело даже не в том, что в Древней Руси кухня элиты отличалась от массовой количеством, качеством и стоимостью продуктов и блюд; важнее, что эта кухня имела качественные отличия в собственно кулинарии. Жарение, грилирование, варка в котлах и прочие изысканные для того времени приемы мало или вовсе не применялись в домоводстве рядовых жителей, так как это возможно только при наличии в хозяйстве собственной поварни с открытым огнем и, естественно, набора соответствующей кухонной утвари. Массовая кулинария была принципиально другой, так как основывалась на применении духовой печи, предполагавшем иной набор посуды, использование иных кулинарных технологий и, соответственно, иной ассортимент блюд. Только со временем народная кулинария заимствует элементы аристократической – когда последняя обращается к очередным новым заимствованиям.

То же самое относится и к такой сфере бытовой культуры, как жилище. В допетровской Руси крестьянские избы никак не походили на боярские хоромы. Хотя сам архитектурный модуль – срубная клеть – оставался одним и тем же и в элитарном, и в массовом жилье, несходства между ними хватало. Главным различительным маркером служили даже не камерность и этажность жилища, а его внешний и внутренний декор: чрезвычайно далеким от реальной исторической действительности было бы суждение о том, что крестьянские избы Московии от порога до конька изукрашивались резьбой и прочим "узорочьем", каковые так любили изображать позднейшие художники вроде А. Васнецова или И. Билибина. Это еще один вопиющий анахронизм, глубоко укоренившийся в нашем массовом национально-патриотическом сознании: если бы смогли воочию увидеть крестьянскую или посадскую избу не только XV в., но даже и XVII в., то первое, что бросилось бы в глаза – это практически полное отсутствие какого-либо декора.

Резьба, раскраска, роспись, все это разнообразное узорочье, известное с домонгольских времен, украшали лишь жилища знати и наиболее состоятельных горожан; в крестьянской избе, равно как и в рядовом городском доме, ничего подобного не встречалось. Здесь и украшать-то фактически было нечего: как волоковые, так и "красные" окна не

имели наличников и ставней; крыльцо (если оно вообще существовало) делалось без арок и колонок; над лестничными площадками-рундуками устраивались не бочки или шатры, а простые навесы; черная печь была покрыта копотью, как и вся верхняя поверхность стен, так что раскрашивать их не было возможности; потолок вообще отсутствовал, так же как и балконы и забранные тесом фронтоны; резные столбы, на которых навешивались ворота, могли присутствовать только при наличии самой ограды.

Суконные и холщовые обои, обивка стен и потолка тисненой и золоченой кожей, шпалеры, стенная роспись, раскрашенные "в шахмат" полы, изразцовые печи, резные наличники – все это встречалось лишь в хоромах виднейших вельмож; не только крестьянские избы, но и дома посадских людей не имели ничего подобного. Весь их декор – это коньки куриц и охлупня, простейшая геометрическая трехгранно-выемчатая резьба на колодах красных окон, возможно, подзоры лавок (на Севере); причем все это касается только срубных изб – в мазанках украшать резьбой было нечего. И только когда в петровские и более поздние времена показателем престижа и символом социального статуса стали жилые дома европейской архитектуры, отдельные элементы устаревшего, вышедшего из моды, переставшего служить маркером высокого общественного положения хоромного декора стали постепенно проникать в деревню. Позднее то же самое происходило с барочным декором, к которому восходит уже этнографически зафиксированное деревянное узорочье посадских и крестьянских изб: как только, а точнее – когда только барокко вышло из моды и сменилось классицизмом, соответствующие мотивы стали присваиваться "низовой" культурой.

Аналогичные закономерности адаптирования элементов иностранной и элитарной культуры в народную можно проследить, конечно, не только на уровне бытовой культуры, но и в разнообразных формах нарративных памятников, но это уже задача отдельного исследования. Моя задача иная – попытаться на нескольких почти случайно взятых примерах показать, что национальный/националистический дискурс в освещении отечественной истории донациональной эпохи не является универсальным и единственно возможным. Рассмотрение, казалось бы, хрестоматийно известных вещей и явлений в иной (властно-иерархической) плоскости, то есть в других парадигмальных рамках, открывает для исследователя сколь удивительный, столь и увлекательный мир.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ломоносов М.В. Поэзия. Проза. Письма. Воронеж, 1986.

Малахов В.С. Новое в междисциплинарных исследованиях ("Историко-ситуативный" метод в работах В. Тишкова) // *Общественные науки и современность.* 2002. № 5.

Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX–начала XX в. М., 1984.

Миненко Н.А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири (XVIII–первая половина XIX в.). Новосибирск, 1979.

Оболенская С.В. Образ немца в русской народной культуре XVIII–XIX вв. // *Одиссей. Человек в истории.* М., 1991.

Февр Л. Бои за историю. М., 1991.

Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена. Л., 1991.